
Павел КУРМИЛЕВ

ОДНА ФАНТАЗИЯ

Рассказ

И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите!

Ф. М. Достоевский. Идиот

— Ты никогда не задумывался о том, почему окраины всех городов так похожи? Почему у городов различаются лишь центры, да и то не всегда?

Вопрос застал меня врасплох — я действительно думал о чем-то подобном, и не раз, так что очень странно было слышать собственные мысли из уст другого человека. И возражать я начал исключительно из нелюбви к чересчур категоричным формулировкам.

— Все-таки есть исключения. В Эстонии у дорог стоят остовы каменных мельниц. В Польше при въезде в любой город увидишь кресты с лентами, расходящимися от верхушки к низу, так что получается что-то вроде майского дерева. Кстати, о Польше: очень хорошо помню, как мы въезжали в ночной Гданьск. Там на окраине была не то станция, не то завод, напоминало это декорации из научной фантастики: множество разнокалиберных вышек, переплетение огромных труб, и все это буквально испещрено белыми огнями подсветок. Зрелище футуристическое. Но в целом... да, согласен. Похожи.

Мы сидели в салоне самолета, ожидая все откладывающегося вылета. Джая, красивая, насколько вообще может быть красивой женщина с обритой головой, откинулась на спинку кресла, и я почти любовался ее идеальным профилем, но именно почти, потому что странный разговор, который мы с перерывами вели все сегодняшнее утро, мучил меня и не давал мне покоя.

— Почему окраины похожи? — спросил я наконец, видя, что Джая ушла в свои мысли и не стремится продолжать беседу.

— Наш настоятель утверждает, что такого рода повторяемость — верный признак иллюзии. Иллюзии бывают и уникальными, единичными, ни на что не похожими. Но когда что-то воспроизводится с навязчивым постоянством, это, так сказать, иллюзия в квадрате, потому что объектом ума становится уже не сам предмет, а представление о нем или, еще точнее, слепая вера в него.

Павел Валерьевич Курмилев — прозаик, фотограф, кандидат культурологии, автор статей по истории искусств. Родился в 1981 году в Ленинграде. Победитель литературных конкурсов «Трансильвания» (2012, первое место в номинации «Малая проза») и «Маньяк-фест» (2015, третье место в номинации «Малая проза»). В 2011 году основал (совместно с Игорем Сорокиным) творческое сообщество «Dark Romantic Club», выступающее за возрождение романтизма в искусстве.

— Но в чем разница? — спросил я нетерпеливо — этот поворот разговора казался мне слишком пространным.

— В классическом буддизме все соблазны чувственного мира воплощены в образе демона-искусителя Мары. Когда ты видишь что-то новое, рассматриваешь это, изучаешь, находишь все больше уникальных нюансов — это демон Мара опутывает твои глаза еще одной иллюзией. Но когда ты сталкиваешься с чем-то знакомым или чем-то, что кажется тебе таковым, и образ в твоей голове выстроен не восприятием, а памятью, происходит нечто много худшее. Ты сам становишься собственным демоном Марой, сам опутываешь себя иллюзией, причем иллюзией, так сказать, второй свежести. Мара хотя бы работает добротнo. Любую данность нашего непосредственного восприятия можно измерить, задокументировать, описать с точки зрения науки. Но те фантомы, которые порождает мы сами, как правило, лишь очень грубые слепки с объектов и явлений первого, так сказать, порядка. Выходя на лестничную клетку, сталкиваясь там с неприятным соседом, сухо произнося: «Добрый день!» — и мучительно долго орудуя ключами лишь затем, чтобы не спускаться по лестнице бок о бок, ты даже не можешь описать, как этот сосед выглядит, но чувствуешь самое непосредственное раздражение от того, что он вечно выходит из квартиры одновременно с тобой. Причем это может быть совершенно другой человек, просто похожий на тот смутный фантом, что хранится в твоей памяти. Может быть, вчера у него было целых три глаза. Может быть, сегодня у него вообще нет глаз.

Я даже вздрогнул, настолько живо представил эту сцену.

— Пригороды везде похожи, — заключила вдруг Джая, — потому, что на самом деле мы никуда не летим. Просто исторический центр почти везде прорисован добротнo, а периферия... да кто вообще рассматривает пригороды?

Она так легко и беззаботно произнесла страшную, в общем-то, вещь, которую до этого я лишь пару раз читал на закрытых интернет-форумах.

— Ты считаешь, — пробормотал я, — что путешествия нам... внушаются?

— Не ты ли, — Джая глянула на меня чуть даже насмешливо, — говорил, что уже через пару дней после возвращения даже продолжительная поездка кажется тебе сном и игрой воображения? Сколько бы сувениров и фотографий ты ни привез?

— В сувенирах и фотографиях как раз и заключается проблема. Фотографии из отпусков у всех одинаковые — одни и те же достопримечательности, снятые с одних и тех же точек, меняются только лица, украшающие — ну, как украшающие... — этот фон. Сувениры одно время казались мне достаточным аргументом в пользу реальности путешествий, но затем на глаза мне стало попадаться все больше абсолютно одинаковых вещиц — чашки, магниты, открывашки для пива, сувенирное оружие и так далее, — продающихся в самых разных странах и отличающихся только надписями, самое большее — рисунками. По сути, можно купить такую чашку здесь, отнести в мастерскую, где наносят на фарфор любые изображения или надписи, заменить надпись на «Париж» или «Будапешт» — и вот ты словно бы побывал в Париже или Будапеште.

Мне казалось, что я говорю со спокойной иронией, но Джая покосилась на меня и сказала:

— Ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Поддельные путешествия ничем не хуже, чем иные виды обмана и самообмана. Расслабься и получай удовольствие. В конце концов, ты летишь в свою любимую Прагу. В который раз, кстати?

— В седьмой, — пробормотал я.

Я пытался вспомнить ту поездку, в которой заподозрил обман, но не мог. Во время последнего визита в Прагу я был уже практически уверен в том, что все, происходящее между авиаперелетами, а возможно, и сами они — лишь искусная подделка,

имитация, потрясающе детализированное внушение. Впрочем, уверенность эта скорее предваряла поездку и следовала за нею; непосредственно же там, в городе из моих снов и грез, все во мне отчаянно и больно протестовало против самой мысли о нереальности происходящего. Нереальными, напротив, казались будни: безликий город с многоэтажными серыми окраинами и безликим желто-белым классицизмом в «историческом» центре; безликие дни как ворох карт рубашками вверх, и не ворох даже, а просто плотно спрессованная колода; безликие маршруты, найденные до полной утраты чувства движения, — много раз я ловил себя на том, что окружающие улицы и дома вызывают во мне настолько интенсивную, настолько мучительную тоску и скуку, что мне хочется лечь и заснуть прямо посреди улицы, под ногами потока прохожих — лишь бы перестать видеть эту улицу и этот поток прямо сейчас. Реальностью же были древние камни, и горбатые мостовые, и черепичные крыши, и черно-зеленые шпили, и водопады плюща, и веселые, шумные, приветливые люди, и острый месяц над светящимися в ночной вышине башнями Града. В тот приезд меня особенно остро злили бесконечные потоки туристов, следующие по одним и тем же маршрутам, делающие одни и те же снимки с одних и тех же ракурсов, покупающие одни и те же сувениры; я шарахался от них, как от зачумленных; мне казалось, что бесконечная повторяемость их действий убивает мой город мечты, превращает его в бездушную машину, механизм, мертвый конвейер. В тот приезд я избегал, как мог, туристических троп и видов; в каждом знакомом здании и памятнике стремился различить что-то новое, деталь, которой не видел прежде, — чтобы почувствовать свое отличие от толпы, непричастность к конвейеру. Не мог и не хотел избавиться от иррационального чувства, что туристический поток своими одинаковыми действиями стирает черты моего города, превращает его в тот самый условный, безликий, упрощенный фантом, о котором сегодня говорила Джая, зато я, находя новое, отыскивая не виденные прежде переулки в исхоженных, казалось, районах, фотографируя не шаблонные виды, а трещины на статуях, и пятна мха на барельефах, и паутинки на фонарях, этим самым творю город, создаю мою Прагу, формирую те самые детали и штрихи, без которых нет подлинной, настоящей реальности. Не раз и не два я ощущал противодействие — нет, не самого города, а чего-то внешнего ему — и при этом действующего через него. Выражалось оно в основном в исчезновении интересовавших меня архитектурных деталей, реже — целых домов или улочек. Само собой, никакой внешней мистики я не наблюдал, все оставалось на своем месте, просто улицы оказывались перекопаны, лавочки закрыты, костелы заперты без указания причин, а отдельные фрагменты строений скрыты строительными лесами либо, наоборот, свежоокрашены и тем самым полностью лишены очарования старины.

Чувство, что кому-то незримо всерьез досаждают мой роман с этим городом, отдавало паранойей. Стоило мне прекратить поиск уникального и примерить маску праздности, как чувство внешнего сопротивления исчезало, но вместе с этим Прага упрощалась до картинки из буклета, а это было кошунством, которое я не мог долго выносить.

— Я не могу просто расслабиться, — сказал я наконец, — для меня это... как если бы верующему сказали, что его Бог — подделка и технологически совершенное внушение, сделанное группой бездушных специалистов, чтобы заработать денег.

— Ну, в теократических антиутопиях вроде той, в которой живем мы, все примерно так и есть, — лениво заметила Джая.

Самолет уже разогнался.

— Как ты думаешь, в какой момент полета заканчивается реальность и наступает иллюзия?

— Я читала в Интернете, что в те секунды, когда при взлете начинает закладывать уши. Была еще версия, что психотропный препарат дают с едой и напитками...

— Но ведь еще недавно можно было путешествовать даже на собственном автотранспорте.

— Можно было. Пока это не запретили.

— Но почему, — спросил я, — больше нет настоящих путешествий?

— Тут есть минимум две версии: грустная и очень грустная. С которой начать?

— Давай с очень.

— Согласно ей, лететь уже попросту некуда. За пределами нашей страны остались лишь выжженные войной земли, а сокрытие этого факта нужно, в общем, за тем же, зачем в мифологии нужен рай. Не ты один живешь только и исключительно ради дней, проведенных там.

— Чудовишно, — проговорил я, — а просто грустная?..

— А тут причины сугубо экономические. С развитием технологий индуцировать искусственную реальность стало неизмеримо дешевле, нежели как-то преобразовывать физическую.

— И в этом втором случае мир за пределами страны все же существует?

— Как вариант. Но неизвестно, таков ли он, каким мы его видим, выйдя из самолета.

Двигатели взревели с пугающей силой, самолет резко пошел вверх, и у меня заложило уши.

* * *

Осень в Праге была печальной и теплой, почти без дождей, которых я не любил и, принимая решение лететь в конце сентября, несколько опасался.

Днями я гулял по старинным улочкам и начинающим желтеть паркам, всегда стараясь выбирать новые маршруты; иногда взор мой прикипал к какому-нибудь пейзажу или отдельному зданию, и тогда я надолго замирал и стоял неподвижно, разглядывая и впитывая, иногда на пустынной набережной или улице, иногда прямо посреди толпы; всякий раз, находя нечто уникальное, что-то, чего я не ожидал увидеть, то, без чего общая картина вполне могла бы обойтись, я едва мог сдерживать слезы радости, умиления и надежды. Не может быть, беззвучно говорил я тогда покосившемуся дому, задрапированному в плащ из дикого винограда, или растрескавшейся статуе, замершей в настенной нише на глухой, казалось бы, улочке, не может быть, что и тебя придумали, просто взяли и нарисовали бездушные мошенники, зарабатывающие на желании людей посмотреть другие страны. Ты не можешь быть подделкой, шептал я, глядя ладонями чуть теплую, крошачую от прикосновений штукатурку стен, глядя снизу вверх в темные лица статуй, здесь ведь нет никого, улица пуста, туристы не приходят сюда никогда, даже местных жителей здесь не видно — при условии, что они вообще существуют, эти местные жители, а не являются лишь частью симуляции; никто не стал бы моделировать целую улицу для одного меня — ведь куда проще смоделировать на ее месте забор, что, собственно и происходит периодически, когда я лезу туда, куда не надо. Что если... при следующей мысли я буквально задыхался от мучительной радости, что если многообразие мира здесь объясняется тем, что все это существовало некогда в реальности, было оцифровано — и лишь потом стало недоступно физически? То есть где-то неизмеримо далеко действительно стоит этот покосившийся

дом в темно-рыжей черепичной шапочке, похожий на галантного старичка, присевшего в забавно-старомодном поклоне? То есть где-то действительно смотрит в пустоту улицы эта обрамленная розовым шиповником статуя? Они действительно есть, просто до них никак не дойти, не доехать ни за какие деньги, ведь для частных путешествий границы закрыты, а самолеты и прочее — лишь имитация? Что если... и от следующей мысли мне становилось невообразимо, непередаваемо дурно — что если эта оцифровка, эта симуляция — все, что осталось от мира, где есть горбатые мостовые, и статуи в нишах, и присевшие в поклоне дома? Что если правы интернет-кликучи, и нет больше никакой заграницы, нет никаких старинных городов, а есть выжженная войной пустыня?

С Джаей мы почти не возвращались более к этой теме да и вообще пересекались довольно мало; регулярно виделись лишь в отеле за завтраком, после которого расходились каждый в свою сторону.

Вечер накануне отъезда оказался в этот раз особенно мучительным. Впрочем, расставание каждый раз давалось мне тяжелее, чем в прошлый. Даже исхоженные и хорошо знакомые улицы являли все новые архитектурные красоты, словно приберегали до поры часть своих башенок, гербов и статуй, а тут решили, что пора. Все встречные женщины казались красавицами, а все мужчины, даже подвыпившие и громкие, — добрыми приятелями, и, что самое странное, шум толпы вокруг меня словно затихал, не исчезал совсем, но становился как-то мягче, глуше, словно люди понимали — я завтра уезжаю — и старались быть деликатнее. Восприятие достигло такой интенсивности и остроты, что все, что я видел и ощущал — ярко подсвеченные башни в синем облачном небе, запахи: кофе, жареного мяса, сладкой выпечки с корицей, вкус абсента, который я пил, не пьянея, холод ветра с Влтавы — все это причиняло почти физическую боль. Выйдя на набережную, я поднял глаза на сияющий высоко в небе Град и прошептал ему, зная, что он услышит: я вернусь, я буду возвращаться снова и снова, пока это будет в моих силах. Я говорил нечто подобное каждый раз, с первого последнего вечера здесь, и с тех пор этих последних вечеров прошло еще пять, и каждый раз, простившись, я возвращался, сломленный, в отель, и наутро были хлопоты и дорога в аэропорт, самолет резко шел вверх, у меня закладывало уши — и дома ждало царство беспросветной обыденности.

И в этот раз красота ночных Градчан была настолько мучительна, что я едва не повернул обратно к отелю, но, посмотрев на часы, понял, что еще довольно рано, и я успею напоследок повидать Золотую улочку. В свое время я собирал материалы о ней и изучил ее историю достаточно подробно, но так и не нашел ответа на наиболее интересовавший меня вопрос: откуда пошло представление о ней как о границе между видимым и невидимым мирами? Придумал Густав Майринк Дом у последнего фонаря или же использовал уже существующую, пусть и малоизвестную легенду? Ответа не было; возможно, я плохо искал. Так или иначе, но почти в каждый приезд я поднимался поздним вечером в пустынные Градчаны и шел на Золотую улочку в смутной и странной надежде обнаружить там что-то, чего не было прежде и не будет впредь, что-то, что изменит весь мой мир. Не находил ничего, кроме вереницы разноцветных, кукольно-маленьких домиков, дремлющих в рыжем свете фонарей, и уходил с робким предчувствием, что уж следующий-то визит сюда наверняка окажется для меня судьбоносным, просто надо угадать что-то важное, войти в Градчаны с правильной ноги, сделать по лестнице определенное количество шагов, не больше и не меньше, соблюсти еще какое-то бессмысленное условие, и тогда врата откроются!.. — и так повторялось из года в год.

В этот раз отчаяние мое было особенно острым — я прислушался к себе, пытаюсь понять, не было ли это предчувствием того, что я не увижу Прагу более, и понял, что —

нет, весь ужас состоит в обратном, в том, что я буду приезжать сюда год за годом, пока не состарюсь до полной невозможности заработать на поездку денег. В этом тоже была странная обреченность. Эта перспектива наводила на мысль о том, что на самом деле ничего в жизни изменить нельзя.

Золотая улочка оказалась закрыта: вход в нее перегораживала черная витая решетка.

Первую минуту я стоял перед решеткой бессмысленно, пораженный подлостью такого поворота. Но затем во мне взяла верх та пристальная въедливость, которая регулярно побуждала меня полностью погрузиться в созерцание, без движения замерев посреди слепой катящейся толпы. Я принялся отмечать деталь за деталью, а в какой-то момент понял даже, что бормочу описания себе под нос, словно наговаривая их на несуществующий диктофон:

— ...решетка совсем новая, окрашена в черный цвет, в орнаменте преобладают спирали и растительные мотивы, в высоту ненамного больше моего роста, и чисто технически ее несложно было перелезть в боковой части, где она ниже всего... от самой Улочки видно два дома, один фонарь, одна обычная дверь, одна совсем низенькая, два совсем маленьких окна, под самыми крышами, и два обычных... хотя нет, три, от третьего видна лишь узкая полоска, да и то если прижаться щекой к стене переулка...

— Привет! — раздался позади меня голос Джаи. — Я знала, где тебя найду. Где еще, как не здесь. Что ты там слушаешь?

— Подожди-подожди, — проговорил я, — не сбивай меня, я почти нашел...

— Что нашел?

— Ошибку. Невозможно сконструировать такое и в чем ни разу не ошибиться, понимаешь?

— Нет!

— Тогда пойдем.

Джая пожалала плечами, и мы зашагали прочь от решетки и светящегося за ней фрагмента Золотой улочки. В конце переулка я остановился, перетащил ремень сумки через голову и отдал сумку Джае. Джая с молчаливым удивлением смотрела, как я поворачиваясь к воротам и, не сходя с места, толкаю их обеими руками, точнее, делаю движение, словно толкаю — через все то расстояние, что нас разделяло. От усилия заныли плечи и шея, а затем мышцы живота. В какой-то миг мне показалось, что черные силуэты створок слегка шелохнулись, но, скорее всего, то был обман зрения, вызванный сбежавшей со лба в глаз капелькой пота. Наконец я опустил руки.

— Все? — спросила Джая с истинно буддийским спокойствием.

— Нет, — ответил я и бросился к воротам, примериваясь плечом в створку чуть выше замка. Удар оказался совсем не таким жестким, как я ожидал — ворота, амортизировав, уже почти отбросили меня назад, и лишь затем механизм замка сломался с резким, похожим на негромкий выстрел металлическим щелчком, и я вбежал на Золотую улочку. Но Улочка не было. В нескольких шагах от меня заканчивалась реальность и начиналась чернота, и фонарь, который я видел из переулка, был не просто последним — он был единственным.

Я успел услышать, как удивленно охнула подошедшая Джая, увидев, видимо, то же, что видел я, а затем раздался звук, похожий более всего на невыносимо резкий, парализующий свист. От него тело мгновенно обмякло, и я скорчился, зажимая руками уши; и одновременно все, что я мог видеть — брусчатка и фрагменты двух домов, выхваченные из неестественно черного мрака единственным фонарем, — растаяло, и без какого-либо перехода сквозь прежнюю картину проступила новая: суея-

щиеся люди в форме стюардесс и стюардов. На меня не обращали внимания; кажется, они поспешно давали какие-то препараты пассажирам, вводили внутривенно или я уж не знаю как — мое тело застыло в абсолютной неподвижности, и я не мог даже скосить глаза. Впрочем, один человек в моем поле зрения все-таки был, и он смотрел прямо на меня. С заурядным усталым лицом, бородатый, в форме стюарда.

— Ну зачем, — спросил он утомленно, — зачем было все ломать? У нас же образовался с тобой настоящий симбиоз — ты дорабатывал город, а мы... Только посмотри вокруг — сколько народу проснулось! Знаешь, сколько стоит качественно заменить память одному человеку?

Я по-прежнему не мог даже изменить направление взгляда, но с удивлением осознал, что способен едва слышно говорить.

— Я, — прошептал я, — дорабатывал город?

— Разумеется. Не думаешь же ты, что это мы просчитывали каждую трещину и каждый лист живой изгороди — все то, на что вообще никто из вашего брата туриста не смотрит. Ты делал за нас нашу работу, за что мы были очень тебе благодарны. Но сегодня...

— Зачем, — прошептал я, — зачем весь этот обман?

— А что не обман? И где не обман? В Интернете? В телевизоре? В кинотеатрах? Обман — сущность сферы услуг и индустрии развлечений.

— Почему не летать по-настоящему?

— По-настоящему тебя хрен куда пустят. Не лично тебя, разумеется, а любого из нас. Политика. Наконец-то у нас хоть в чем-то полное согласие с окружающим миром: здесь нас не хотят отпускать, а там — не хотят принимать. В принципе, давно ведутся дебаты о том, чтобы рассекретить этот аспект, но встает вопрос о том, как это скажется на общественной морали.

— Я не понимаю...

— Сейчас, если ты, там, отравился или прыгнул с башни, то ты сломал ноги, как минимум, все как в жизни. Но если станет известно, что отравление тебе устроили и ноги на самом деле сломали наши гастроэнтерологи и хирурги, нужно или отдавать под суд нас, или превращать путешествие в аттракцион абсолютной безнаказанности.

— Что теперь?

— Им, — бородатый мотнул головой куда-то себе за спину, подразумевая, видимо, всех остальных пассажиров, — промуют мозги. Но тебе... — он мрачно и многозначительно показал шприц.

— Что?

— Тебе промывать мозги бесполезно. Нет, препараты-то работают на тебя, как и на всех, и мы можем заменить память об одной поездке, но ты ведь захочешь отправиться туда снова, а еще одного такого вмешательства программа не переживет.

Без всякого предупреждения он вонзил иглу мне в руку. Боль оказалась тупой и слабой, но быстро начала расти и увеличиваться, словно бы распирая предплечье изнутри.

— Пусть тебе послужит утешением то, — бородатый посмотрел на меня почти с симпатией, — что ты действительно много сделал для города, который так любил. И умираешь ради того, чтобы он и дальше мог радовать людей. Я и сам вот полечу на Рождество...

Я засмеялся — тихо, слабо и хрипло. Боль терзала мою руку и подбиралась уже к груди.

— Хрена с два я тебя туда пушу.

* * *

Я стоял посреди Староместской площади. Светило нежаркое осеннее солнце. Вокруг теснились люди: фотографировали, фотографировались, спешили за поднятными зонтиками экскурсоводов, пили глинтвейн и пиво, ели витые булочки с корицей и нанизанные на палочки на манер шашлыка картофельные чипсы. Пахло жареным мясом и специями. Солнце позолотило черно-серые башни Тынского храма, а окруженная зубчатым ореолом фигурка Девы Марии на вершине костела сияла так ярко, словно сама была маленьким солнцем. Зазвенел, знаменуя начало нового часа, колокольчик в руке скелета на Орлое, и в ответ ему приветственно зашумела, закричала, даже зааплодировала толпа.

Я стоял там бесконечно долго — впервые не потому, что изучал и рассматривал что-то, а потому лишь, что мне наконец-то незачем было спешить.

* * *

Днем я рисую на Карловом мосту портреты туристов, а в туристическое межсезонье подрабатываю официантом. Вечерами, вооружившись зонтиком и фонарем, вожу пешие экскурсии по мистическим местам и рассказываю легенды о пражских привидениях. Я не стал богом сотворенного мной мира. Я не умею летать по воздуху, создавать из воздуха деньги или превращать воду в сливовицу. Мои физические возможности ограничены теми воспоминаниями, которые я сохранил о своей прежней жизни. Но я перестал стариться и уставать — возможно, первое напрямую связано со вторым — и иногда не сплю по несколько суток просто потому, что мне жалко тратить на это время. Если вы когда-нибудь будете в Праге — в моей Праге! — мы встретимся непременно, даже если вы не попадете на мою экскурсию или не войдете, отряхивая зонтик, осенним вечером в мое кафе. Потому что черно-зеленые шпили, и рыжее море черепичных крыш, и солнечный свет на ажурной позолоте Орлея, и холодный ветер над Влтавой — это тоже я. Главное, держите глаза открытыми.